



МОЙ СЫН

Родился мой Шура 17 марта 1925 года в селе Песковатском Череповецкого района. Теперь ему исполнилось бы семнадцать лет.

Ничего, кроме радости, я от него не видела. Был он спокойный, здоровенький ребенок. Я не замечала, как он вырастал.

Игрушек я Шуру покупала много — ничего для него не жалела. У меня самой детство было тяжелое: я рано осталась сиротой с младшим братишкой да сестренкой. Пришлось работать на заводе. Платили копейки, и ходила я после работы по миру с протянутой рукой. Горькое было детство. Одни обиды и попреки. Вот и хотелось мне, чтобы мой Шура рос счастливым. Говорили много раз соседи: «Балуешь ты ребят, Самуиловна». Верно, баловала, как могла. Но от моего баловства они только лучше становились.

Шура был пытливый мальчик. Сломает игрушку и смотрит, что у нее внутри. Очень его занимало, почему кошка мотает головой, отчего у зайца лапки подымаются. Техникой, мастерством он рано начал интересоваться. В шесть лет у него молоток и нож из рук не выходили: лодочки вырезал, ружья, собаке будку построил.

Собак он очень любил, собак и лошадей. Четырехлетним малышом плачет бывало, чтобы его на лошадь верхом посадили. А собак у нас в доме всегда держали хороших: муж, Павел Николаевич, — страстный охотник, а охота в наших лесах замечательная.

И Шура, чуть подрос, стал с отцом ходить в лес. Сначала смотрел только, а там, глядишь, птицу принесет, а то и зайца. Стрелять он научился с малых лет — сначала баловался с самострелом, потом к отцовскому дробовику привык. Мы ему не мешали. Я ему ни в чем поперек не становилась.

Да он и не озорничал никогда так, как другие ребята. Бедовый, горячий, а дурного слова никому не скажет. Всем помогал, и всякое дело у него спорилось. Прямо даже удивительно. Примус ли испортится, кастрюля прохудится — Шура все сейчас же починит. Соседи и товарищи к нему за помощью обращались. Но это ему не очень нравилось: он точно стыдился перед ними этих своих хозяйственных занятий.

Все делал сам. Уедешь на несколько дней в командировку; отец тоже куда-нибудь выедет. Шура дома один, обед себе состряпает, корову подоит. Не любил других ни о чем просить. «Сам,—говорит,—сумею».

К технике у него было большое тяготение, все придумывал, строил. «Конструкторы» я ему покупала, но они скоро перестали его интересовать: он любил самостоятельно до всего доходить. Когда купила ему фотоаппарат, сам сделал увеличитель. Кинопередвижку собрал. Очень долго над ней сидел. Я ему из Москвы даже отдельные части привозила. Если электричество погаснет, у нас в доме все равно светло: Шура динамики сам делал.

И когда займется одной работой, весь в нее уйдет, серьезный ходит, насупленный, ни о чем другом не может думать. Всякое дело обязательно доводил до конца. Твердый был. Мы уже знали: Шура сказал — значит, так и будет: он от своего слова не отступится, герой наш.

Мы его в семье героем звали, шутя конечно. Уж очень быстро он вверх тянулся, высокий, стройный, широкоплечий. Скажут бывало: «Какой у тебя, Чекалина, сын герой растет». Улыбнешься: «Ну, что там...», а про себя подумаешь: «И верно». Гордилась я сыном.

Учился он отлично. Все на лету хватал — такая у него была память. Учителя удивлялись. Точно отпечатывался у него в мозгу урок. Раз прослушает — и все. Дома он только читал, помогал учиться товарищам.

Вот сейчас подошли весенние дни, и у меня сердце сжимается, все вспоминаю. В это время у нас в доме всегда гомон стоял. Набьются к Шуру в комнату ребята, а он их учит. Все покажет, все растолкует, как взрослый, и не успокоится до тех пор, пока не почувствует, что товарищ выдержит экзамен. Вовку Кузнецова он, Шура мой, три года перетаскивал из класса в класс.

Уважали его ребята. У нас в доме всегда целый отряд собирался, сначала малышей, потом подростков. Соседи смеялись: «У тебя, Чекалина, детплощадка. И не надоест тебе? Ведь шум от них, сор». Ну и что ж, сор? Сор убрать можно. У меня, глядя на них, душа радовалась. А Шура среди них вожак.

Случалось, и они мне помогали. Вернешься иной раз под вечер с работы, ничего в доме не сделано: воды нет, печка не топлена. Шура взглянет на меня, скажет: «Ты, мама, не беспокойся. Сейчас все будет готово». И начнет командовать: одного по воду пошлет, других — дрова пилить, сам за работу возьмется. Не успеешь оглянуться — все дела сделаны, все в порядке.

Шура очень младших ребят любил, Витькиных сверстников. Подшучивает над ними, поддразнивает, а сам во всем помогает. С Витей — младшим братом — они душа в душу жили. Комната у них, у двоих, была отдельная. Постельки их там стояли, Шурины инструменты, книжная полка.

Шура читал очень много технических книг — по радиотехнике, по механике, выписывал журналы. Из литературы увлекался Толстым,



Он видел, как фашистские мерзавцы выпороли розгами его старую мать. Он бежал из села, поклявшись отомстить. Когда Красная Армия освободила родное село, Вася Афанасьев вернулся домой воином, сержантом Красной Армии.

Горьким, Фурмановым. Любил «Три мушкетера» Дюма. Эти книги я сама ему покупала. Я три класса сельской школы только и кончила, всю жизнь хотелось мне больше знать, и училась я самоучкой, урывками, как могла. Бывало просят ребята денег на кино. Отец иной раз разворчит: «Больно много на них тратишь». А я ему говорю: «Мы с тобой неученые, так пусть хоть дети больше видят, больше знают. Не надо на них жалеть».

Крепко запомнились Шуре «Чапаев», «Александр Невский», «Суворов». Виктор дразнит: «Что у тебя за имя такое: Витька, Витюшка. Вот Александр — другое дело. Александр Невский, Александр Суворов. Это имя!»

Шутя, конечно, говорил. Но, думается, он и в самом деле гордился, что вот и его зовут Александр. Была в нем гордость. Хорошая, настоящая, внутри себя.

Из сверстников дружил он с Андреем Изотовым. Жил Андрюша в деревне Зеленый Лужок, но часто гостил у нас в Песковатском, а позже в Лихвине — мы туда переехали. Летом они с Шурой часто далеко уходили гулять: в лес по ягоды, к отцу на пасеку, на рыбалку. Рыбалку Шура любил не меньше охоты. Рыбачили удочками, сетью, а весной Шура шук из ружья бил. Меткий был стрелок.

В жаркое время ребята спали на чердаке в сарае. Заберутся туда и все о чем-то спорят, смеются, песни поют. Шура — тот больше слушал, а Витка у нас музыкант, он и на гармонии и на балалайке.

Шура с Андреем там, на чердаке, обо всем толковали, книги читали вместе. Шура из книг часто делал выписки. Все эти бумаги его теперь пропали, и книги тоже. Все уничтожили проклятые немцы. Сына убили и все, что после него осталось, точно хотели стереть. Да не удалось это им!

Конечно, Шура мне — сын. Матери всякий сын дорог. Но ведь мне совсем посторонние люди, учителя, соседи, говорили: «Шура у тебя — талант». Жадность у него к жизни большая была, пристальный ум, смелость. Настоящий бы вырос из него человек.

Началась война, и не было у Шуры другой мысли, как пойти немцев бить. Говорит мне: «Война, мама, тяжелая будет. Ничего. Пойдем с папкой воевать».

С малых лет он играл в войну. Дом наш стоял на горочке, на отлете. Ребята под горой вырыли землянку, забивались туда на целый день; это у них называлось: «сидеть в засаде». Играли в красных и белых. Шура всегда был красным. Ружья он из дерева понарезал, раскрасил; пистолеты — на вид совсем настоящие. Потом пулемет-трещотку сделал. Золотые были руки!

Этакий стрелок, охотник, смельчак — мог разве он утерпеть и оставаться в стороне? Да и комсомолец он был образцовый. Правда, —



Вася Афанасьев опять в родительском доме. Он выполнил клятву. На его боевом счету 28 убитых гитлеровцев. Он награжден орденом Красной Звезды.

что греха таить, — когда в комсомол вступал, схитрил немного: прибавил себе год, очень уж ему хотелось скорей стать комсомольцем. Единственный раз в жизни, по-моему, схитрил — всегда был прямой на редкость парень, честный, правдивый.

Знала я: все равно пойдет воевать мой Шура, и не мне ему в этом препятствовать. Я в партии с 1931 года, сама сроду не трусила и детей тому не учила. Шесть лет работала председателем сельсовета, много пришлось повозиться с кулачем да подкулачниками; иные из них меня крепко ненавидели, грозились отомстить. Но я от правды не отступала. Мне ли Шуру от опасности отговаривать? А все же ноет материнское сердце, болит за любимого сына.

Как только создали у нас истребительный отряд, Шура побежал записываться. Отказали ему: молод. Вернулся домой и заплакал, а я его в слезах и не видела почти никогда. Очень уж ему обидно показалось.

Стали люди в ополчение собираться. Гляжу, марширует мой Шура рядом с бородачами, учится вместе с ними военному делу. Присмотрелись к нему командиры — даром что шестнадцать лет, выйдет из парня толк. «Ладно, — говорят, — ступай в истребительный, примем».

Сделался мой Шура истребителем. Отправятся они бывало в леса, вылавливать диверсантов. Ждешь их дня три-четыре, а то и пять. Чего только не передумаешь за это время!.. Но вот слышалась издали песня:

Три танкиста, три веселых друга,
Экипаж машины боевой...

Скачут домой наши! Веселые, обветренные... Все — молодежь. Недавно слушала я красноармейский ансамбль, все глаза проплакала — эти песни Шура со своими товарищами пел.

Он мне никогда ничего про свою работу не рассказывал: умел хранить тайну. И когда в лес собирается, тоже ничего не объясняет. Скажет спокойно: «Мама, приготовь харчишек, надо ехать».

Я и не спрашивала его ни о чем. А другим, коли пристанут, он отвечал: «Едем на маневры».

Как-то говорит мне Шура:

— Помогла бы ты мне, мама, автобиографию написать.

— Зачем тебе?

— Кружок организуется. В помощь милиции.

Я ему помогла. Написал он автобиографию, заявление. Сфотографировался. Единственная эта карточка у меня и осталась. Смуглый был парень, черноглазый, черноволосый — красавец.

Теперь-то я знаю, что требовалось это вовсе не для милицейского кружка. Он мне ничего не говорил про партизан, но я скоро догадалась.

Немцы все ближе подступали к нашему Лихвину. Как-то приходит Шура домой молчаливый. Вижу: на душе у него тревожно.

— Ну, — говорит, — собери меня как следует. Я, наверно, уйду на всю зиму.



«Охотником за танками» прозвали товарищи по оружию младшего сержанта комсомольца Владимира Николаева. В одном из боев он смело подобрался к вражеской колонне и зажигательными бутылками уничтожил два фашистских танка.



Западный фронт. Восемьдесят раз ходил на разведку во вражеский тыл гвардеец боец комсомолец Григорий Погубельный. За доблесть и отвагу мужественный воин награжден орденом Красного Знамени.

Упало у меня сердце. Собрала я ему белье, теплые вещи, валенки. Три буханки хлеба дала. Хотела мяса положить. Он говорит:
— Не надо. Нам папка уже все достал. Свинью целую. Два пуда меда.

Ушли они вместе с отцом.

Остались мы вдвоем с Витей. У того, конечно, тоже глаза горят, рад бы за старшими увязаться, да кто тринадцатилетнего возьмет? Живем с ним, скучаем. А дней через пять началась эвакуация.

Побежала я в райком. «Как хотите, — говорю, — вызывайте сына. Я знаю, он в партизанском отряде. Вызовите хоть на час. Проститься хочу».

Такое у меня было решение: если не увижу его — не уеду. В этого сына я все вложила: всю надежду мою, всю радость. Гордостью моей был Шура. И осталось мне одно счастье — хоть раз еще на него посмотреть.

Губы я до крови изгрызла, его дожидаясь. Приехал. Вошел хмурый.

— Зачем ты меня вызвала, мать? Ведь ты от дела меня оторвала.

— Шурочка, — говорю, — неужели ты проститься со мной не хочешь?

Посмотрел на меня, лицо прояснилось.

— Очень хочу, мама. Только я не хочу, чтобы ты плакала. Ты же у меня умная, смелая. Проводи меня весело.

Я, конечно, заплакала. Дала ему еще продуктов. Убеждаю: «Возьми новый костюм». Я ему незадолго перед тем справила хороший костюм. Он одевался всегда чистенько, только галстуков не любил. Смеется: «На что мне галстук? Я ж еще школьник».

Не взял он костюма.

— Не к чему, мама. Вернемся — достанем себе все. А в лесу что мне с костюмом делать?

Простились мы.

— Ну, — говорю, — сын, иди, защищай нашу родину, крепко защищай. Только смотри: ты ведь не учен военному делу, будь аккуратней.

— Что ты, мама? Я лучше старших стреляю.

Прижала я его к себе, расцеловала.

Больше я не видела своего Шуру...

Далеко я решила не уезжать. Поселились мы с Витей в Токареве, в сорока пяти километрах от Лихвина. Я там всем говорила, что работаю на шахте, а сама держала связь с партизанским отрядом. Помогала им, чем могла: доставала белье, пищу, передавала сведения.

Навестил меня муж, рассказал про Шуру. Наш сын партизанит хорошо, ходит в разведку: недаром он в лесах наших охотился, ему всякая тропа известна. В отряде он единственный радиотехник, установил аппаратуру. Начальник им не нахвалится.

И позднее доходили слухи о Шуре — самом молодом партизане отряда. Рассказывали, как напали на него десять фрицев. Шестерых он взорвал гранатой, троих уложил из винтовки, десятый убежал. Передавали еще, что Шура с товарищами ходил в разведку. Пришли они в

избу, где жили наши родные, легли спать. Ночью в тот же дом нагрянули немцы. Спрашивают: «Кто у вас?» — «Начальство ваше», отвечают хозяева. Легли фрицы спать. Шура с товарищами хотели их прикончить, да пожалели стариков-хозяев: им бы фашисты непременно отомстили. Утром наши вернулись в отряд, узнав все, что нужно о расположении врага.

Много еще рассказов ходило про моего Шуру. Есть чем гордиться матери, есть о ком плакать.

Прошла неделя, две, три... Нет вестей ни от мужа, ни от сына. Места я себе не нахожу. В голову лезут черные мысли. Не стерпела, решила пойти сама разузнать, что с отрядом. И Витя, понятно, со мной: не одному же ему оставаться?

Мы обогнули Лихвин, зашли в деревню, где жила свекровь. Недалом меня грызла тоска. Свекровь рассказала: взяли моего мужа, взяли сына.

— Шура, — говорит свекровь, — зашел в Песковатское, в наш старый дом, лег там на печку. Ночью пришли немцы, двенадцать солдат. Он бросил в них гранату. Граната не разорвалась. Его схватили, повели. На улице старуха спрашивает: «Как же ты попался?» А он ей: «Я с предателями песковатскими разговаривать не хочу!»

Выдали его, проклятые. Верно, те самые гады, что против меня камень за пазухой держали, отомстили мне.

Темным-темно стало у меня на душе. Чувствую: не видеть мне больше радостного моего сына. Свекровь говорит:

— Уходи отсюда. О Шуре все знают. Заберут они тебя.

Но я устала и тяжело мне было очень. Осталась ночевать.

А утром пришел в избу староста и говорит с ухмылкой:

— Пойдем, Чекалина, сына выручать.

Я разом поняла, какая это выручка, да ничего не поделаешь, пришлось послушаться. Повел он меня в штаб, и Витя за нами следом побежал с собакой. Она за нами с самого Токарева увязалась.

Вошла я в штаб. Сидит там Шутенков из Лихвина, предатель.

— Хоть одна коммунистка лихвинская попалась. А то все скрылись. Я ему отвечаю:

— Нет, мы, коммунистки, не скрываемся, мы дело делаем.

Он брови сдвинул.

— Ишь ты какая. Тебе, верно, не известен наш закон: всех коммунистов истреблять...

— Зато, — говорю, — тебе фашистский закон хорошо известен. Давно ли это фашистский закон твоим законом стал?

Тут вмешался староста.

— Дело, — говорит, — ясное. Сын у нее — партизан. Муж — партизан. И сама, раз не ушла никуда, значит тоже где-нибудь партизанит. Что с ней канителиться!

Тут заговорили они между собой о расстрелянных партизанах. Шутенков советует старосте:

— Коли не брезгуете, снимите с них валенки, разденьте и заройте их в землю, как собак.

У меня от злости дух захватило. Вижу, стоит на столе тяжеленная чернильница. «Схвачу, — думаю, — да ахну этого подлеца, чтобы сдох, проклятый пес, тут же на месте». Рука так и тянется сама к чернильнице, и нет у меня никакого страха — легкость такая. Тут вспомнила я про Витьку.

— Ладно, — кричу, — убивайте меня! Истребляйте всех до корня. Мужа моего вы убили, любимого сына убили. Убивайте уж и младшего сына, казните меня вместе с ним! Я сама вам его приведу!

Должно быть, отчаянно я говорила. Большая сила во мне в те минуты была. Поверили. Староста кивнул головой.

— Ладно, веди сына.

Не поняли они, гады, что не сдамся, не лягу костыми, пока им не отомщу за их подлость. Не знали они большевистской души. Вышла из штаба. Вижу, Витя стоит, понурый.

— Текаем, сын.

И мы с ним за машины, за дома, да все дальше... Смешались с людьми, — тут как раз немецкая пехота проходила, — выбрались кое-как из деревни. Увела я от лютой смерти моего младшего сына.

А о старшем, о Шуре моем, рассказали мне в соседнем селе. Слух о его смерти шел впереди меня. Шопотом сообщали об этом люди друг другу и удивлялись великой силе, что таилась в шестнадцатилетнем мальчике.

...Привели Шуру на допрос. Стал выпрашивать его немецкий комендант, начал грубо ругать большевиков и партизан. Не стерпел Шура. Схватил он чернильницу со стола и двинул ею в переносицу коменданту. И приговорили моего сына к страшной казни.

Как сказали мне об этом, сжалось у меня сердце. «Так, — думаю, — Шурочка. Сделал ты то, что мамка твоя собиралась сделать. Точно сговорились мы с тобой. Так их, Шурочка!»

И хоть не была я с ним в последние его минутки, но я их вместе с ним сотни раз пережила, потому что он — сын мне и потому что я сама сквозь все это прошла — сквозь эту злобу к негодьям, и гордость, и отчаянное бесстрашие.

Знаю, как брел он, больной, в родное село Песковатское, как лежал там ночью один в доме на печке, где отец с матерью ему сказки рассказывали. Помнится, любил он слушать про путешественников, которые открывали новые страны, про победителей, про людей, которые не умеют сдаваться. Он не сдался.

Когда он шел на казнь, фашистские сволочи штыками кололи ему ноги — полные валенки крови были у моего Шуры. Но он шел твердо: он решил умереть хорошо.

Люди видели, как он, смеясь, глядел в лицо своим палачам. Они велели ему написать на фанерной дощечке: «Такой конец ждет всех партизан». А он взял карандаш и написал крупными буквами во всю

фанеру: «Сотрем с лица земли фашистскую гадину!» и бросил дощечку в народ.

Они хотели повесить ему на спину винтовку: партизан должен качаться в петле во всем своем вооружении. Он выхватил эту винтовку и ударил прикладом немецкого солдата. Говорят, сломал ему ребро. Ударил и крикнул:

— Что вы мне ржавую винтовку даете? Мы не с такими воюем!

А когда его подвели к виселице, он звонким голосом воскликнул:

— Эх, гады! Всех нас не перевешаете! Нас много!

Тут они накинули ему на шею петлю.

Тогда Шура запел «Интернационал». Петля была у него на шее, а он пел. Пел про последний, решительный свой смертный бой.

— Отбрось табурет, — приказали ему палачи.

Шура отказался. Он ни в чем не хотел им помогать. Только трусы ускоряют свою гибель. Немец выбил из-под его ног табуретку.

Повисая в петле, Шура что есть сил ударил гада ногой. Так и умер, сопротивляясь.

...Я брела с Витей из деревни в деревню, точно меня оглушили. Ничего я не слышала, кроме боли. Такая тьма была вокруг, столько ужасов встречалось нам на пути, столько расстрелянных, сожженных, повешенных немцами людей.

Шурина мука смотрела на меня отовсюду. Я шла, перевязывала раненых и все отдавала им: Шурину рубашку, — для него приготовила, кружку свою, все вещи. Не моя сила меня вела, заставляла прятаться, обходить опасные места. Раненый лейтенант указал нам, как перейти линию фронта. Выбрались мы с Витей из немецкого ада. Увидела наших — отогрелось сердце. В первый раз за все время мне стало легче. Мы остались в части. Я просила, чтобы взяли меня на службу в армию, хотя бы санитаркой. Рассказала комиссару о сыне и муже. Он согласился. И начала работать.

Когда освободили наш район, пришло мне письмо от мужа, — ему удалось убежать от немцев. Муж писал, что Шурино тело нашли возле виселицы в снегу. Наверно, перервалась веревка. Обмыли его, одели и похоронили на площади.

Эта площадь теперь называется площадью имени Александра Чекалина. И Песковатское тоже теперь село имени Шуры Чекалина, моего сына.